

Николай Петрович Вагнер

**Клёст**

# Содержание

|          |       |
|----------|-------|
| I.....   | .0004 |
| II.....  | .0011 |
| III..... | .0015 |

Н. П. Вагнер  
КЛЁСТ

Ты знаешь, что все деревья страшные сони. Как только в тихий, ясный день их пригреет солнышком, они тотчас же все раскиснут и заснут. А уж ночью — и говорить нечего! Тогда они спят как убитые во всю ивановскую.

И как же им не спать?! Ведь каждое дерево крепко-накрепко привязано корнями к земле и ни за что на свете не упадет.

Только ветер может разбудить деревья. Как только он налетит на них — все они тотчас же проснутся, и все листки их начнут шептаться, как будто они вовсе не спали. Такой ветер даже косматую ель разбудит, а известно уж, что нет такой сони на свете, как растрепанная, косматая, замухрастая ель. Как начнет ветерок махать ее ветками, она поневоле проснется, а вместе с нею проснется и все, что живет на ней.

Ты, верно, знаешь, слышал, что на таких елях живут клесты, — и вот об одном таком клесте я хочу рассказать тебе теперь.

Был он с большой головой и огромным но-

сом крючком. Когда он был еще очень маленький, то и этот нос был также маленький, хорошенький крючочек. Клёст поедал им все, что приносили ему папа и мама, все, начиная от какого-нибудь крошечного червячка до крепкой еловой шишки, из которой он выбирал орешки и щелкал их лучше всякой купчихи или купеческой дочки.

Кругом его был старый, прекрасный еловый лес, была лесная глушь, и вот среди этой глуши он вырос.

Лучшей няней для него было солнце. Когда оно с нежностью пригревало травки, кусты и деревья, то грело заодно, по пути, и его, маленького клёстика с большой головой. При этом грело оно его с такой лаской и любовью, что у него, наверное, выступили бы слезы на глазах. Но ты, конечно, знаешь, что клесты и все птички не могут плакать, просто потому, что у них нет платочков, чтобы утирать слезы. Они даже носики свои утирают просто об землю или об травку. И вот эту травку молодую, зеленую, сочную, бархатную очень любил наш клестик; но, разумеется, он любил ее тереть, когда был еще очень маленький, а

затем, когда нос его стал подрастать и сделался крепким крючком, он долбил им деревья, ломал сучки, гнул ветки, одним словом, делал множество разных гимнастических штук с целью укрепить свой клюв.

Он любил тихие летние вечера, когда солнышко ложится спать, зардевшись, как красная девушка, и его румянец стыдливо разливается по всему небу. Ему нравилось слушать, как лениво перекликались птички, мирно засыпая на ветках; ему нравился пахучий, смолистый, свободный воздух лесов. Но всего больше ему нравились зеленые еловые шишки. Расщипать крепкую, ароматную шишку, добраться до ее сочной, сладкой, смолистой мякоти и вкусных орешков — для него было истинное наслаждение.

Родился он на севере, в лесной тайге, где зимой царит и трещит злющий-презлющий мороз.

И вот от этого мороза все клесты перелетают на зиму туда, где потеплее. Клестик улетел вместе с другими.

А весной все птицы вернулись в старый, родной лес, туда, где прошло детство клести-

ка. Там ему было все знакомо — и старые, замухрастые ели, и молодые зеленые елочки. Все ему приветливо кланялись, как старому другу, и он всем кланялся, и свистел, и кричал, и чирикал изо всех сил своих маленьких легких. Солнышко светило так радостно и весело; оно грело и землю, и травку, и кусты, и деревья, так что те принялись взапуски расти, цвести, зеленеть. И сколько цветов запестрело на зеленых лужайках! Сперва выглянули подснежники, за ними втихомолочку распустились скромные фиалочки. Но на севере они ничем не пахнут — из скромности. Они думают, что пахнуть на весь свет, чтобы все нюхали, кто хочет и кто не хочет, неприлично. Затем расцвели всякие весенние цветочки; разумеется, все расцветали по старшинству. Ведь у цветов строго соблюдается, чтобы ни один, который ниже по чину, не мог расцвести раньше другого, который старше его.

И вот, когда все расцвело и зазеленело, когда солнце просто прыгало от радости по всем лужайкам, цветам и деревьям, когда все птицы, большие и маленькие, запели и засвистали на все лады, тогда у нашего клестика серд-

це чуть не выпрыгнуло из груди. Он, как жар-птица, блестел и сиял на солнце. Он чувствовал, что все это хорошо, очень хорошо, а все чего-то недоставало ему. Он ждал чего-то, а чего — и сам не знал: какого-то праздника, какой-то радости, от которой сердце его заранее трепетало и замирало. И вот, вдруг, в тени большой развесистой ели, сквозь ее сучки, перед ним мелькнула на солнце маленькая серая птичка.

— Это она! — подумал он радостно.

— Это она! — сказало ему сердце.

Это его радость, его жизнь. Это то, чего недоставало ему и чем дорога была ему самая жизнь.

Он хотел свистнуть нежно, жалобно, но горло его сжалось, как и маленькое сердце. Он подлетел к птичке; у нее был такой же нос крючком, как и у него, на ней было такое же серо-зеленоватое платье, какое он носил еще очень маленьким. В ней было что-то детское, но родное, милое, и он тихо-тихо проговорил дрожащим голосом:

— Милая моя, родная!

Птичка чирикнула так кротко, нежно, сер-



дечно, что у клеста все сердце перевернулось от радости. Он пригнул голову и пропел нежную, жалобную нотку, а вслед затем запел. Да! Он запел старую песню, которую поют весной все те клесты, у которых молодая жизнь играет в молодом сердце, он пел ту весеннюю песню, которая вечно останется молодой, потому что не может состариться. И все птицы слушали его, всем хотелось петь, радоваться и любить все и всех.

В ответ на эту песню серая птичка опять нежно, грустно чирикнула и села подле клеста на ветку.

Он весь вострепнулся. Он не знал, не чувствовал, где он сидит; он видел только одну ее — ее, маленькую, родную, серо-зеленую птичку, и опять проговорил тихо и нежно:

— Милая моя, родная!

И они поцеловались.

Ему показалось, что все цветы и листики целуются, что все птицы смотрят на них, что солнце целует землю, и она становится теплой, радостной под его поцелуями. И вот не прошло и двух-трех дней, не успели они оглянуться, как уж были обвенчаны, разумеется,

обвенчаны по-своему. На свадьбу к нашей парочке слетелись все старые и молодые клесты; все пищали, свистели, судили и рядили на весь лес.

— Хорошая парочка! — говорили седые клесты.

— Славная парочка! — рассуждали старые клестихи. И все с ожесточением долбили еловые шишки. А сам молодой был просто на седьмом небе, если только есть седьмое небо. Он пел и сиял от восторга.

Прошло лето, и наш клёст попался, — попался в силки, которые расставили простые, ничему не учившиеся деревенские мальчишки.

Как он рвался, как он щипался, как он кричал!

Его молодая женка тоже кричала и пищала на весь лес. Но ничем уж нельзя было помочь. И хотя бы слетелись тут все клесты со всего леса, то и они ничего не могли бы поделаться.

Его унесли и посадили в маленькую клетку, вместе с чижами, чечетками, овсянками, зябликами, щеглами и тому подобной шушерой. Все это пищало, орало, щипалось и толкалось без толку. Точно ад кромешный!

Целыми днями клест ничего не ел и ни о чем другом не мог думать, как только: вырваться бы на свободу. Изгрыз он все стенки клетки, долбил их изо всех сил; но стенки были толстые, крепкие, а сил у него от голода было очень мало.

— Погоди же! — подумал он, — лучше я бу-

ду есть и поджидать случая. Мальчишки народ глупый. Будут они меня пересаживать куда-нибудь, а я рванусь и... улечу.

И действительно. Как только его стали пересаживать в другую клетку, он изо всех сил до крови ущипнул мальчика за палец, рванулся, полетел и — бац! прямо в оконное стекло со всего размаха.

Господи! Как он треснулся! Даже стекло задрожало от страха, а у него такие искры из глаз посыпались, что он думал — пожар. Целый час у него перед глазами вертелись зеленые кольца; он совсем ошалел, раскрыл рот и даже не почувствовал, как его снова посадили в клетку и отнесли на рынок.

Сколько он там увидел птиц и людей! Птицы кричали на все лады и люди также, точно старались их перекричать. В особенности одна барыня, толстая, пузатая, орала, тараторила, как добрый скворец.

И вот этой самой барыне продали клеста за гривенник.

Посадили его в маленькую клеточку и понесли в большие хоромы.

Назвали клеста Иваном Ивановичем Кри-

воносовым и пустили летать по залам.

Иван Иванович смотрел на высокие хоромы, с большими окнами и зеркалами.

Сначала он думал, что в зеркалах сидят другие клесты, но очень скоро убедился, что этих клестов не достанешь ни за какие коврижки. Смотрел он на штофную мебель, на картины в золотых рамках, на дорогие портьеры и обои, и все это ему было противно.

Но противнее всего были для него растения. Они напоминали ему его милый, зеленый еловый лес и его родную, дорогую, серо-зеленую клестиху.

И он с ожесточением щипал и теребил дорогие кусты померанцев, лавров и мирт.

— Это ты что делаешь?! Что делаешь, разбойник? — накинулась на него барыня. — Разве тебя за тем сюда пустили, чтобы ты портил мои цветы? Возьмите его прочь! Вон! вон разбойника! отнесите его в столовую. Ивана Ивановича поймали и отнесли в столовую.

А там тоже были растения на окнах, правда, немного, несколько горшков плохоньких. Ну, и задал же он им пфэйферу! Была там какая-то волькамерия, которая аккуратно каж-

дый год роняла листья и стояла, бесстыдница, в виде голого пучка зеленых розог. От этих розог Иван Иваныч не оставил ни единого прутика. Все исщипал. И этого мало. Была палка, к которой деревцо было привязано: он и ее исщипал. Был там какой-то двулистный арум. Он его совсем безлистным сделал. Даже почку, которая была в самой середине, и ту всю выщипал.

В зале, подле столовой, куда был сослан несчастный Иван Иванович Кривоносов, летали, резвились, чирикали две птички. Им дозволялось летать по всем комнатам свободно.

Это были московка-синичка, юркая юла, и чижик.

Целый день-деньской они пищали и носились вперегонку по всем комнатам. Московка даже залетала к барину в кабинет, чего не позволялось чижикю. На ночь они мирно усаживались рядком на ветке филодендрона и мирно засыпали. Каждый день, зимой, отворяли форточку в зале; чиж не обращал на это никакого внимания, а московка садилась на самый краешек форточки, юлила, кричала и опять влетала в залу.

— Ах, какие глупые птицы! — думал Иван Иваныч. — Они рады тому, что их держат в неволе и кормят дурацким конопляным семенем! Вот так дуры!

И он смотрел на них с презрением. А когда синичка подлетала к нему, чтобы склюнуть у

него из чашки семечко конопли, он бросался на нее как бешеный.

— Смотрите, какая злючка! — говорила барыня. — Ему жаль семечка для маленькой московки! У! противный! Ему непременно надо пару, ему надо клестиху найти.

И отыскали ему клестиху; но это была не его родная, милая серая птичка: это была настоящая, злая, желтая клестиха, которая постоянно кричала на него и лезла щипаться. Он не знал, куда от нее деться, и вот раз, утром, удрал втихомолочку в залу, и хотя там были противные чиж и московка, но не было ненавистой клестихи.

Но как только увидали его в зале, сейчас же закричали, поймали и посадили его на шкаф.

На шкапу был разный хлам: были старые конторские книги, картонки и тому подобная чепуха. С горя и досады принялся он все это грызть. Работал, трудился целый добрый час, истеребил все книги и картонку, а в картонке была барынина шляпка.

— Ах, ты, наказание божье! — говорят, — нет сладу с ним. Дайте ему полено, пусть со



злости грызет его.

Сел он на полено, и так ему стало горько, тошнехонько. На дворе солнышко светит, воробушки чирикают, в снегу купаются; а он сидит мокрый, в углу, на полене.

И просидел он на нем целый день и целую ночь. Насыпали ему в чашку конопли, но ему не только есть, тошно смотреть на нее.

— Что это, — говорят, — Иван Иваныч не ест? Сидит хмурый.

Хотели подойти посмотреть, не болен ли. Но он окрысился, крылья растопырил, нос раскрыл.

— Этакая злючка, — говорят, и отошли прочь.

Было это ранним-рано поутру, только что солнышко нос свой высунуло. Такое красное, нарядное. Вспомнилось клесту, что так же оно всходило там, там, далеко, в зеленом, еловом лесу, и так захотелось ему полетать на вольной волюшке, повидать свою милую женку.

Чирикнул он раз, чирикнул два и запел свою песенку, ту самую песенку, которую пел там, давно, в первый раз как увидал родную,

милую птичку. Так грустно, нежно и жалобно пел он. Его услышали из спальни.

— Этакая, — говорят, — противная птица! Ни свет ни заря встает, никому спать не дает! Посадите его, разбойника, в шифоньерку. Впотьмах он не будет скрипеть.

Поймали и посадили его в темную шифоньерку. Сидел он впотьмах, взаперти и думал.

— Погодите, дайте мне только случая дождаться. Крылья у меня крепкие, такого стрекача задам. Вырвусь на волюшку вольную, улечу к моей милой.

С тех пор он часто мечтал об этом.

Один раз, рано утром, он замечтался и полетел, полетел в диванную, в гостиную, в залу. Пропел свою песенку — никто его не потревожил.

И прилетел он в зеленый сад, где все кустики и деревья в горшках торчали.

«Этакая гадость!» Подолбил он один кустик, выщипал другой. Стояла на тумбе пышная сага. Листья у ней, словно перья, шли во все стороны, а из самой середины торчали почки, как пружинки. Выщипал и их. Стоит юкка. «Тоже гадость! — думает Иван Ива-

ныч, — точно палка, а на верхушке зеленые мочалки висят». Общипал и мочалки. Одну еловую подпорку исщипал с наслаждением. Одним словом, похозяйничал вволю и всласть.

Барыня встала поздно. Пошла она к своим цветам. Подошла — и вдруг ахнула, всплеснула руками.

— Ах ты, господи! Разбойник, что ты наделал?! Моя сага, моя юкка!.. — и барыня в слезы.

Началась опять охота за Иваном Ивановичем. Летал он как бешеный. Крылья крепкие, здоровые. Припустит он в столовую- бегут за ним в столовую, припустит в залу — бегут за ним в залу. Наконец, догадались двери за ним закрыть. Летал он, летал, кричал, кричал, на силу, на силу поймали.

Взяли ножницы тупые-претупые и все длинные, крепкие перышки, на которые так твердо надеялся Иван Иванович, все перепилили, обстригли, обчекрыжили.

Не вдруг Иван Иванович догадался, какой казус с ним учинили, что у него отняли.

Посадили его опять на шкап, на глупое по-

лено. Хотел он перелететь на ближнее окно, вспорхнул бойко, забористо и вдруг... фьют! полетел кубарем на пол и треснулся о стул грудью. Раскрыл он рот, оглянулся, хотел подняться на окно... тырр-рр! До подоконницы взлетел, стукнулся об нее головой и опять очутился на полу. Сидит, глядит наверх, а в голове темное колесо ходит: не может и не хочет понять он, что отнято у него все, все, чем он жил, о чем мечтал, на что надеялся. И опустил он головку к самому полу.

Посадили его опять на шкаф. Сидит он целый день, целую ночь. В голове у него все смешалось, спуталось. Среди ночи вдруг представилось ему, что крылья у него опять выросли, большие, здоровые сильные крылья, и что форточку в окне открыли.

Полетел он сперва робко, чирикнул и вдруг выпорхнул на свободу... Ах! сердце просто выпрыгнуть хочет от радости.

А там, вдали, стоят зеленые ели и манят его, и тихо зовет его милая, серая птичка, его родная женка. Все встрепенулось, запело, запрыгало в груди Ивана Иваныча.

Бросился он к ней.

— Милая моя, дорогая, родная...

И... проснулся. Проснулся он опять на шкапу, среди ночи. Кругом его тьма кромешная. Заплакал бы с горя, с тяжелого горя, да слез нет. Бросился он в отчаянии со шкапа, слетел камнем вниз, ударился головой об пол и больше ничего уж не помнил.

Утром нашли его на полу, с открытым носом.

Изо рта у него текла кровь.

— Да посадите его просто в клетку, — говорят, — купите клетку и посадите!

И вот посадили его сначала на подоконник, а затем купили клетку и посадили в клетку.

И сидел он по целым дням на жердочке, грустный, и смотрел в окно на голые сучья деревьев, на порхающих воробьев.

— Счастливые! — думал он, — счастливые, за вами не гоняются люди!

Он встречал и провожал каждый день с тяжелой тоской. Грудь у него жестоко болела, но он не понимал, что болит у него в этой груди сердце, измученное тоской.

И вот, в одно утро, кто-то принес и всунул

ему в клетку молодую, зеленую еловую шишку. Господи, как он обрадовался ей! Даже от радости зачирикал. Но тут же вспомнил о зеленых елях, о родных своих лесах и опять сел на жердочку и повесил нос. Так просидел он почти весь день на одном месте и ничего не ел, а зеленая шишка валялась на дне клетки.

Затем наступила весна, снег сошел, деревья и кусты зазеленели, зазеленела травка.

Раз как-то Иван Иванович встрепенулся. Рано, рано поутру он грустно пропел свою любимую песенку, потом целый день ждал чего-то радостного. В груди у него как будто застухло. Чирикнул он, прыгнул на жердочку, прыгнул на другую и вдруг опрокинулся вверх ножками, вытянул шейку, раскрыл рот и умер...